

# СЕРГЕЙ МОРЕЙНО

## Смерть в Лейпциге

Рассказ

*Перевод* АВТОРА

В дороге всегда возникают непредвиденные расходы.  
Хочешь их избежать — сиди дома.

Мудрый Гном

**М**ЫШЬ проснулась в плохом настроении, вспомнила вчерашнюю ссору с Маркусом и решила, что должна жить одна. Ни с кем не общаться, разве что с птицами. Тем более, у птиц и мышей одна судьба — собирать оброненные кем-то на поле зерна. За ночь балкон запуржило, но небо было ясным и уже плотно исчерканным инверсными следами самолетов, словно по нему все утро спускались на землю небесные лыжники. Мышь сделала себе кофе, добавив в него немного шоколада и соевого молока, повеселела и решила, что некоторых ее друзей вполне можно считать летучими мышами — так интенсивно перемещаются они по поверхности планеты. Значит, почитай что птицами.

“Когда я выбираю себе чашку на полке, чтобы выпить чаю, то никогда не знаю, чем руководствуюсь, хотя почти всегда догадываюсь, — подумала Мышь, — но я знаю, что очень зависима от собственного настроения”. Это означало, что за работу, за которую давно пора было браться, Мыши — в обыкновенном расположении духа весьма и весьма работающей — браться не хотелось.

Тем не менее взяться пришлось. Мышь предполагала сегодня готовить, а, значит, времени на раскачку особо не было. Само собой, Мышь готовила практически ежедневно, поскольку и ела практически каждый день, за исключением редких осенних постов, не позволяющих мышшиной фигуре поплыть во время обильного урожая. Но что-нибудь приготовить и готовить — вещи существенно различные. Завтра утром, вопреки только что данному обету отшельничества, Мыши предстоял

давно запланированный поход: в гости к паре пожилых мальчиков, шесть лет назад адаптировавших рожденную в проблемной семье двойню, — и Мышь, исполняя никогда не надоедавшую ей роль Красной Шапочки, собиралась отнести в избушку дедушек киш с семгой и пореем, запеченные в овечьем сыре цуккини под кунжутным соусом, сливочный крем из лесных грибов плюс подарочное издание “Энциклопедии гномов”.

Расположение читающей публики авторы энциклопедии, как ни странно, снискали отнюдь не своими глубокими познаниями из жизни горных и равнинных гномов (а также озерных, речных и даже — не существующих — морских), но переводами одного модного японского романиста, выполненными с английского, как с языка-посредника — и оттого сделавшими эти романы чуть менее претенциозными, сохранив, однако, все их бесспорные качества бестселлера. “Что ж, — со вздохом подумала Мышь, ласково огладив взглядом обложку книги, на которой седой гном, сидя перед очагом в своем креслице, мирно курил трубку, а рядом, расположившись посреди кучки соломы, пристально глядел в огонь приблизительно такого же размера мышонок, — каждый зарабатывает как может”.

Первый текст был прислан издательством ей на отзыв неделю назад. Финская бомба, расколовшая общество на непримиримые партии. Даже матерые эстонцы-патриоты, забыв о своей русофобии, спорили лишь об одном: уместно ли публиковать на пяти страницах (примерно семь с половиной тысяч знаков, включая пробелы) художественное описание того, как чей-то пенис проникает в прямую кишку восьмилетнего ребенка? Спор велся на абстрактном уровне, как многие подобные споры; никто уже не говорил ни о качестве текста, ни о его формальных достоинствах. Даже казалось неважным, что автор успел дать почти исчерпывающее объяснение своему творческому порыву. Он, дескать, поддался неумолимому потоку видений, причем ровно после того, как совсем недавно и не слишком далеко от столицы (время и место) он — пристально глядя в глаза человеку, высказавшему соответствующее предложение (простить денежный долг в обмен на предоставление ему в “краткосрочную аренду” сына должника), — вдруг с огульной четкостью понял, что смотрит в глаза сатане.

В начальных абзацах автор сообщал, что эта повесть “выдавалась из него, как гной из перезрелого фурункула”; что прежде чем ее написать, он три дня валялся с температурой тридцать девять и с совершенно реальным бредом — не валялся, а вертелся на постели, поскольку не был даже “в состоянии впасть в спасительное забытие”. На четвертый день он уже не мог лежать, так как его начали сотрясать периодические приступы дикого кашля, подобные Nosanna органной

мессы. Усиливаясь, они приводили его к почти незаметной — всего на мгновение — потере сознания, которая должна была означать миг религиозного катарсиса. Тогда он встал, надел на себя всю одежду, до которой только смог дотянуться, присел к столу и начал писать...

Проснувшись на следующее утро, он выпил несколько чашек кипятку, куда выдавливал по пол-лимона и клал столовую ложку меда, и на него в свете восходящего солнца — всходило, черт возьми, солнце — вновь обрушилась такая страшная прозрачность, что представлялось тотально непоправимым чем-либо ее нарушить, потревожить. К примеру, выйти на улицу и заговорить с кем-то — да хотя бы просто выйти на улицу и кого-то там увидеть. Любая драная кошка могла оказаться вирусом среди чистой культуры его ясности и пустоты.

Мышь не любила физиологии в литературе, но вовсе не это заставило ее задуматься. Если уже в предисловии финский автор был настолько метким, что описал утренний ментальный недуг Мыши с двухсотпроцентной точностью, то дальше — в теле текста — он мог затронуть более глубокие мышшиные проблемы, наступить на какую-нибудь из ее мозолей всей своей финно-угорской тяжестью и сделать ей своим пониманием так больно, что лучше было бы отложить “халтурку” до полной ее, Мыши, моральной стабилизации — то есть на три-четыре-дня-неделю-две.

Пару минут заняло сочинение очередной отговорки для издательства, еще двадцать пять минут — письмо финскому агенту (который был с ней знаком и, как полагала Мышь, мог косвенно следить за прохождением манускрипта сквозь издательское сито). Получилось дружеское письмо ни о чем, она писала о неприятно мокрой зиме, жаловалась на эпидемию гриппа, угрожавшую всем ее близким, — в частности, ей самой — и сообщала, что в скором времени планирует выздороветь. А в остальном, прекрасная маркиза, kaikki on kunnossa, все хорошо. Итого двадцать семь минут, цент в цент.

И она взялась за Маркуса.

— Ладно, почитаем Маркуса. За это уже в пять часов вечера я налью себе стаканчик ликера. Отдадим ему должное, он пишет достойно, и если бы он не был так упрям и так настойчив в эксплуатации одних и тех же приемов, если бы он чаще прислушивался к словам Мыши... словом, если бы он не был упрям и слушался Мыши...

— Хорошо, займемся Маркусом, это будет достойное субботнего дня чтение, он бывает увлекателен, умеет быть увлекательным. Ну, например. До сих пор, съезжая на внутреннюю дорогу к дому — перед этим нашим, не там и не так установленным знаком “Ресторан”, — я вспоминаю его исто-

рию о девушке, которая девочкой верила, что дорожный указатель “вилка-ножик” значит, что в лесу живет людоед. (Ее переживания, когда родители однажды сворачивают под такой знак куда-то в лес: она думает, что за плохое поведение ее хотят отдать людоеду... Годы спустя она плачет в компании, думая, что все считают ее неглубокой.)

Ей выпало редактировать текст под названием “Экскаватор”. Маркус уже как-то называл подобным образом небольшой рассказ: “Асфальт”. Речь шла об уходящей любви, а асфальт упоминался только раз — совет деревни, где происходит действие, старую добрую брусчатку покрывает асфальтом — в знак неумолимых перемен. Сегодня Мышь отчего-то рассчитывала на большее согласие имени и идеи. Пускай лишь разнообразия ради. И что бы Маркусу, пускай лишь контраста ради, не поставить где-нибудь тот польский акцент из прошлогоднего лета?

Они ехали — а правду сказать, стояли в правом крайнем ряду на шоссе Варшава-Краков. Поляки строили автобан, повсюду были объезды, слева тянулась стройплощадка, справа — нескончаемая полоса торговых центров. После исполинского “Media Markt” с выделенной разгонной полосой перед ними втерся и вот уже четверть часа маячил черный, сверкающий даже сквозь густую пыль джип, тянувший на старом помятом прицепе обшарпанный мини-экскаватор. Пока джип, со всем своим экскаватором, влезал между ними и хорошенькой альфа-ромео, Мышь шипела и несколько раз била кулачками по рулю. Маркус же некоторое время сосредоточенно молчал, а потом выдал следующее. Богатый дядька, дети-сволочи, шикарная стерва жена (возможен любовник в шкафу). Стресс дома, стресс на работе: злой начальник, тупые подчиненные. На стройке, которую ведет его фирма, он находит старый, всеми забытый, но при этом исправно работающий экскаватор, увозит на взятом напрокат прицепе и начинает рыть траншею вокруг собственного дома. Вначале никто не обращает внимания, а он роет себе и роет. Тяжесть ситуации первым оценивает сын: будучи заперт в гараже, он не может отправиться на вечеринку. Дочь ждет друга, но друг боится лезть через ров. Хозяин, дорвавшись до игрушки, продолжает окапывать коттедж. Сигналивший сын, причитающая домработница, лающие псы. Жена, до последней минуты не верящая в безумие мужа. Снаружи вызванный сердобольной дочерью ambulans с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Вероятны пожарные (“экскаваторщик” перерубает кабель).

Однако здесь дядькой на джипе явно не пахло. По крайней мере, вначале.

Вообще-то — для Маркуса (для ироничного Маркуса; опять-таки, например: когда сосед, помешанный на всем индийском,

начиная от ароматических палочек и заканчивая Упанишадами, звонит Маркусу на мобильный — сообщить, что вышел в астрал, — Маркус немедленно отвечает: Я тоже *вышел*, с собакой!) — начало оказалось неприлично высокопарным.

— Изю всех смертей вокруг, — писал Маркус, — а они в последнее время участились, поскольку сам я достиг возраста, кончину в котором уже не обязательно назовут безвременной, хотя и поднимут удивленно брови, — сильнее всего меня поразил случай Ральфа Нивайера. Х. Л. Борхес в одном из рассказов называет основные истории, передающиеся людьми из поколения в поколение. Их — утверждает он — всего четыре. Об осажденном городе, о странствиях и возвращениях, о поиске и еще — о самоубийстве бога. Я бы добавил к ним пятую: о смерти на распутье.

Писатель Томас М. создал новеллу про писателя А., влюбившегося на отдыхе в Венеции в маленького польского князя. Не выдержав душевного напряжения, А., в повороте к неожиданно раскрывшимся новым ощущениям, умер. Писатель Вольфганг К. на соответствующих аллюзиях построил роман “Смерть в Риме”. В романе “Берег” русского писателя-коммуниста Юрия Б. протагонист переживает встречу с юностью. Обнаруживается, что первая любовь могла бы иметь продолжение, причем в другой, свободной — в смысле, западной — стране. Но не успевает он прийти к окончательному решению, как в салоне самолета, чье шасси уже коснулось колесами бетонного покрытия посадочной полосы, его настигает инфаркт.

Встречаясь с прошлым или же с неизменно вторгающимся в твое настоящее будущим, ты обнаруживаешь дорогу, которая всегда лежала перед тобой и по которой сегодня, пусть даже она и превратилась в тропу, все еще можно пройти. Ты стоишь на расстани. Продолжишь ли ты свой прежний путь, на котором связан многочисленными узлами и обязательствами, или выберешь другой, куда зовет тебя сама — только что открывшаяся тебе с новой стороны — жизнь: все равно. Как сказано в русских сказках, тебе так и так суждено потерять, причем не коня, а голову.

“Я постиг, что Путь Самурая — это смерть. В ситуации *или-или* без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнишь решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации *или-или* практически невозможно”, — таков Ямамото Цунэтомо в своем “Сокрытом”.

И таков Ральф Нивайер, повстречавший в Лейпциге свое детство.

— Через день после смерти Ральфа, когда пора было звонить вдове и уточнять место и время похорон, у меня схватило живот. Это случилось ближе к ночи, примерно около десяти, как раз в тот момент, когда я решил прекратить работу и лечь спать. Но едва я закрыл крышку компьютера, мне стало настолько нехорошо, что я просто упал на кровать и попытался завернуться в плед, в лежащее под ним одеяло и съежиться так, чтобы занимать в пространстве по возможности меньше места. У меня начались галлюцинации. Более всего мне мешали мысли — я был уверен, что, остановись они хотя бы на минуту, мне стало бы легче и я бы согрелся и уснул. Однако они шли и шли, путаясь в моей кружащейся голове, — всего две или три: о надвигающемся ветре, о деньгах, которые мне должны, и еще о чем-то далеком, связанном с какой-то давней любовью.

Эти мысли убивали меня, я не мог дышать. Я громко вскрикивал, чтобы вдохнуть немного воздуха, и мне казалось, что весь дом слышит меня. У меня даже не было сил набрать чей-то номер, к тому же меня сковал страх. Я знал, что, пока я лежу тут один, это наверняка останется обычным отравлением, а если кто-нибудь придет ко мне на помощь, тем паче вызовет скорую, то выяснится, что у меня настоящая болезнь, и не простой аппендицит, а перитонит или даже панкреатит. Помню, что пробовал моментально научиться тому, чего никогда не умел, — ни о чем не думать. Я представлял себе белое заснеженное поле и белую точку на этом поле, в которую пытался спрятаться без остатка, чтобы заснуть под теплым пушистым одеялом падающего снега, под которое не проникает ни одна мысль. Но стоило мне, опять-таки мысленно, приблизиться к этой точке, как я снова начинал задыхаться, кричал, и белая точка отдалялась от меня на прежнее расстояние, отделенная густой пеленой моих кошмаров.

Когда начало светать, меня, наконец, вырвало. Сначала я удерживал рвоту приложенной ко рту рукой, потом, уже на пути в уборную, умудрился ее частично сглотнуть, но это вызвало настоящий обратный фонтан и я, уже падая на колени перед толчком, запачкал весь пол. Помню — что-то проносится перед, как говорят, внутренним взором, тело охватывает мгновенная слабость, и я вижу ту самую белую точку среди снегов, зовущую и манящую меня вечным освобождением. Это же чувство я испытал, когда фрау Ева Нивайер, теперь уже вдова, рассказала мне об их с Ральфом последней поездке в Лейпциг.

Мышь выпала из своего читательского оцепенения. Во-первых, Ральф Нивайер — это не какой-то там господин Р. Нивайер, а ее (бывший) близкий друг и советчик по многим во-

просам, включая работу и налоги. Когда он умер, она вместе с антрепризным театром из Цюриха, при котором временно состояла ассистенткой режиссера, находилась в Японии на гастролях. С опозданием узнав о смерти, не смогла присутствовать на похоронах. Огромная потеря. Кроме того, ее дела с Маркусом уже тогда шли неважно, а теперь и мирить их стало некому.

Во-вторых, то, что описывает далее Маркус, основано на реальном событии. Сохранив подлинные имена, он как бы намекает читателю: все это должно являться правдой — если не полностью, то содержать минимум вымысла. Вопрос — почему он так делает? Знал ли он, что рассказ отдадут на вычитку в цепкие лапки Мыши? Хотел ли он удивить ее, позлить? Он дразнит редактора, чтобы впоследствии отказаться от публикации, — или у него есть определенные договоренности со вдовой? Ее личные отношения с фрау Нивайер, и без того не слишком сердечные, со смертью Ральфа прекратились вовсе, так что переспросить она не могла, да и не желала.

В-третьих, Мышь захотела поест. Еда разгадывала для Мыши многие загадки. Чай из собранных в заросших садах между Раушеном и Георгенсвальде листьев малины и ягод облепихи повышал ее лояльность к любым капризам любого автора. Хрусткие русские блины с бананом и вишневым конфитюром позволяли ей понять фразу на иностранном языке — любой сложности. Куриное фрикасе на диком рисе мощным течением переносило Мышь через подводные камни любого текста. И как раз пластиковая ванночка с порцией отварной польской курицы была вынута вчера из морозильной камеры. Мышь кроила лук и шампиньоны для фрикасе, нож выстукивал по разделочной доске: паршивец Маркус, Маркус — паршивец; подонок Маркус, Маркус — подонок...

Почти год назад, в апреле, Ева и Ральф Нивайер отправились на автобусе в город Лейпциг. Точно так же, как почти два года назад, всё в том же апреле, туда отправилась и Мышь в сопровождении Маркуса. Мышь благоволила к немного надутому, немного простоватому, немного щеголеватому городу, до сих пор не зализавшему оставленные войной и последовавшим за ней мирным периодом шрамы. Тем самым он делался для Мыши, не уважавшей пустую лощеность, ближе и понятнее. Они с Маркусом — оба — неоднократно бывали на книжных ярмарках, однако бесцельно и со вкусом побродить по городу им — ни вместе, ни поврозь — никогда не удавалось. Мышь заказала билеты на “МайнФернбус”, Маркус сделал бутерброды. Видимо, таким образом возникла канва, по которой Маркус, якобы со слов Евы, вышил затем свое повествование.

Мышь не читала ни справочников, ни путеводителей; она выбирала улицы мышиным или, как говорил Маркус, мышечным чутьем, что полностью окупалось, с ее точки зрения, в таком хаотичном и эклектичном городе, как Лейпциг. Обе пары начали с культового, вдобавок расположенного близко к вокзалу “Кофейного дерева” — просто для начала отсчета. Они выпили туристический латте и съели по трюфелю, обойдясь без лейпцигских миндальных жаворонков ценой четыре сорок за штуку, да и без лейпцигских воронят тоже. Бывало, Шуман и Вагнер отмечались у этого дерева, Август Бебель и Карл Либкнехт подсаживались к его ветвям, штази вели наблюдение за богемой в его тени — теперь все ушли, позабыв прибраться. Если верить Маркусу (и Еве), год спустя на втором этаже царила прежняя духота; других посетителей не было, и часто бывавший в Москве Ральф сказал, что классическая музыка в одиннадцать утра напоминает ему о временах социализма, когда такой аккомпанемент в течение нескольких суток помогал скорбящему народу справиться с очередной тяжелой утратой. (Маркус удивился, отчего “Второй концерт” Брамса, под который легко мчат по автобану, так давит в этих стенах.)

Затем их пути разошлись. Ненадолго и не далеко. Если считать, что с ними вообще что-то случилось в этом городе (ведь никто никогда не знает, можно ли назвать произошедшее случившимся), то случилось это рядом, в пределах одного квартала и даже одной улицы. Чета Нивайер для разминки двинулась на восток. К Старой Ратуше, похожей одновременно на все старые ратуши мира (и не похожей ни на одну из них); к церкви Святого Николая, бестолковой с лица, но изящной с изнанки — проведя около получаса в ее нежной белизне, осененной пальмовыми листьями. Обогнув университет и балансируя между серым железобетоном Гевандхауса и желтым клинкером первой городской электростанции (Маркус в качестве бытописателя оставался на высоте), фотографируя по пути эркеры и водоразборные колонки, они достигли “Кар-Ли”, культурной жилы южного предместья...

В свою очередь, Мышь потащила Маркуса строго на юг. В сторону заметной отовсюду Новой Ратуши. К Музыкальному кварталу. К казенным домам. На этом пути никак нельзя было миновать церковь Святого Фомы, в которой сам Иоганн Себастьян целых двадцать семь лет руководил хором мальчиков, и они несколько раз заходили внутрь и выходили обратно, не зная, что им еще предпринять, но совсем уйти не решались. Стоя под новым органом, Маркус сказал, что эта часть церкви называется кораблем — длинная, как настоящий корабль, с двумя органами: над западными хорами и посредине нефа.



Они уходили и возвращались, сбитые с толку золотым отсветом Прекрасной эпохи, лежавшим на окружающих церковь зданиях, и Маркус все твердил, что знает теперь загадку баховских гармоний и модуляций. Поскольку в те времена здесь был только один орган, а Баху нужно было добить до самых дальних от него (то есть ближайших к алтарю) молящихся, то он посылал им стрелы божеских *пассий* как громовеержец — через весь пятидесятиметровый неф. Мышь точно помнит, что Маркус был прямо-таки блестящ в своих рассуждениях, но, восхищаясь им где-то на последнем пределе ее мышьего интеллекта, она чувствовала непосредственно за этим самым пределом непонятное и неприятное ей отчуждение: ну зачем вообще рассуждать о Бахе — да еще так умно?

— Ты никогда не задумывалась, милая Мышь, вот о чем? Когда Бах, согласно легенде, пробирался тайком в сельскую церковь, чтобы поиграть там на органе, всенепременно какой-нибудь штатный органист, а то и рядовой прихожанин, заслышав его игру, картинно ужасался: “Это не может быть никто иной, кроме Баха — или же это сам черт!” Отчего черт? Почему бы Богу не забраться под крышу деревенской церквушки и не вышибить из местного органа последний дух? Он что, слишком занят для этого?

Маркус достал из кармана помятый конверт со штампом оплаты вместо марки, чтобы записать на нем свои мысли (“Даже если ты совершенно одинок и нигде не работаешь, — внезапно подумала Мышь, — государство заботится о том, чтобы ты не сошел с ума от отсутствия общения: оно посылает тебе письма”). Безо всякой связи с государственной заботой она вспомнила, как однажды лежала на диване и слушала фа-минорную хоральную прелюдию “Я взываю к тебе, Господи”. Ту самую, под которую Донатас Банионис, актер из Литвы, в грязно-белых штанах и синей куртке, при виде которой у Мыши отчего-то перехватывало дыхание, бредет берегом реки в районе, кажется, Звенигорода и смотрит на стелющиеся по течению водоросли. Слушала в наушниках, чтобы не искушать соседей, как вдруг — сквозь наушники — пробился inferнальный грохот уличного фейерверка; тогда, впечатленная музыкой, Мышь решила, что началась война, сложилась на груди лапки и приготовилась умереть...

Маркус спас положение, сказав, что понятие “хорошо темпированного”, а вернее, хорошо “темпорированного” клавира — это руководство к действию при написании любого текста: книги, картины... Нет удачных и неудачных текстов, есть тексты хорошо или плохо темпорированные. Когда работаешь над текстом и какое-то место тебе не дается, значит, в нем ты не совпадаешь со временем и надо замедлиться или ра-

зогнаться. Чувствуя приближение голода, символизирующего определенную шаткость их положения, а заодно неверный, наугад взятый темп, Мышь втокнула Маркуса в недорогую на вид закусную — и не прогадала. “Орган — это война, — загадочно сказал Маркус, откусив кусок сардельки и закапав рубашку. — Его нельзя прекратить по мановению чьей-то руки или ноги. Он длится, пока может”.

Практичная Мышь тотчас перенесла идею Маркуса в область человеческих отношений. Она немного ускорила и обогнала Маркуса, потом притормозила и отстала от него, потом выровняла шаг и поняла, что готова его обнять прямо здесь, возле общественного туалета на Сплавной площади. Беда заключалась в том, что во время своих мысленных перестроений Мышь была не слишком внимательна к вещественному дорожному покрытию и, подстраиваясь под одного Маркуса, выпустила руку другого Маркуса и подвернула лодыжку. Она еще немного похромала, но позиция лидера была утрачена. Маркуса автоматически повело обратно — на север, на восток; они зачем-то пересекли сакраментальную “Кар-Ли”, и Музыкальный квартал не дождался Мыши. Во дворе, откуда уютно просматривалась задняя округлая часть Петерскирхе (хорошо, что лютеране демонстративно подводят доходные дома вплотную к сакральным постройкам — буквально к алтарю!), Маркус посадил ее на железную скамейку, и все те долгие десять или пятнадцать минут, что Маркус ходил в ближайшую аптеку за эластичным бинтом и бутылкой воды — вода утешала Мышь при любых обстоятельствах, — через нее текла та самая пустота, что текла сквозь игравшего в гляделки с сатаной финна...

Покончив с чаем, Мышь сложила всю посуду в посудомоечную машину, двумя шлепками тряпки протерла стол и наскоро проверила почту. Агент отвечал ей на ее, Мыши, родном языке, намекая, что понял, куда “клоняет” Мышь, — но полагает это *on kunnossa*. Издатель молчал. Популярный почтовый сервер предлагал ей увеличить пенис, утверждая, что размер имеет значение. Мышь относила свой ноутбук к предметам личной гигиены, но ей постоянно чудилось присутствие другого пользователя...

Она вернулась к “Экскаватору”.

Еву Нивайер после не слишком удачного кофепития тоже ожидал обед, однако иного сорта. Они шли вдоль трамвайных путей, на которых, от перекрестка к перекрестку, происходил нескончаемый ремонт. Начался и скоро перестал дождь. В одном месте, где проезжая часть была полностью перекрыта, на дощатом настиле между фасадом и тротуаром стояли длинные деревянные столы со скамьями типа парко-

вых: летняя терраса. Там, в одиночестве вдвоем, сидели довольно бесцветная пожилая женщина и классическая гримовская Розочка, вероятно, внучка. Женщина с любовью смотрела, как ее Розочка разделялась с классическим кенигсбергским клопсом.

Не успели Нивайеры миновать террасу, как у них потекли слюнки. Из местных сортов предлагались бутылочный “Фрайбергер” и либо темный, либо светлый “Ур-Кростицер” по три восемьдесят кружка. Официантка сказала, что пивоварня в Кростице тоже стоит на улице Карла Либкнехта, и тут уж было не отвертеться. Метрах в пятнадцать, прямо напротив террасы, компактный экскаватор переносил с места на место кучу песка. Второе место располагалось метрах в десяти от первого.

— Не будь это центр города, — сказал Ральф, — кучка поляков или литовцев давно бы перекидала всю эту кучу безо всякого экскаватора.

(Диалоги — конек Маркуса. Как и монологи. Маркус — мастер монолога. Нет, серьезно: именно он убедил молодого переводчика чеховской “Чайки” убрать из сакраментальной реплики Нины Заречной формальную связку “[я] есть”, оставив просто “Чайка! Чайка!”...)

— Ну и на что бы ты тогда смотрел? — спросила Ева.

— Разве в этом городе не на что посмотреть? На тот вон дом. На кенигсбергские клопсы. На тебя.

Мышь представила себе, как Ева вытягивает на скамейке свои длинные гладкие ноги, безусловный объект мышачьей зависти; она никогда этого не отрицала (как и того, что только из-за этих ног Ральф — любивший нежно поглаживать их при всякой удобной возможности: стоя, сидя, лежа, — терпел Еву, с ее тонкими губами и металлическим голосом; *почему Маркус об этом не пишет?*).

— Один час легально работающего мужчины стоит едва ли не больше арендной ставки не очень крупного механизма, ничего не поделаешь.

— В целом отъявленная дыра этот Лейпциг. С чего он вдруг так расцвел — непонятно. Порядочной речки нет. Кругом песок. На какие шиши-то они университет строили, шестьсот лет назад?

— Может, у них спаржа хорошо росла? Спаржа — удовольствие дорогое, особенно в начале сезона.

Экскаватор продолжал ездить вправо-влево, поворачивая одну лишь кабину; миниатюрные гусеницы перемещались параллельно улице и явно жили самостоятельной жизнью. Ева невольно забеспокоилась: она заметила, как Ральф складывает пальцы правой руки “клювом” и выгибает кисть, имитируя

движения стрелы и ковша. За полгода до развода с первым мужем, музыкантом, она прекратила даже завтракать с ним вместе — из-за того что он, ожидая, пока сварится утренняя каша, начинал дирижировать. Им принесли пиво — со слов Евы Маркус пишет, что пиво было прекрасным, в меру горьковатым и каким-то “проясненным” (термин Маркуса, происходит от выражения “лицо прояснилось”), — и Ральф перестал взглядывать в сторону розочкиной тарелки, полностью переключившись на дорожные работы.

Между террасой, где они сидели, и ограждением стройплощадки протиснулся грузовик, не вписался в узкий проезд и продолжительно сдавал назад. Не прошедшие санацию панельные дома чудовищно разнообразили противоположную сторону улицы. Вновь закапал дождь; стало грустно. Написанное на меню название заведения — *Фольксхаус* — отвечало настроению. Когда официантка вернулась, Ральф, как и следовало ожидать, заказал клопсы (в честь любви к падшему и утраченному) и обильно политый топленым маслом, пересыпанный петрушкой вареный картофель за семь девяносто. Ева, с ее берлинским прошлым — *currywurst* “Фольксхаус” (в память об ушедшем и невозвратном) и картошку-фри за шесть пятьдесят.

Чуть дальше, ближе к раскрашенному Михаэлем Фишером дому на углу Шекспириштрассе виднелся агрегат, похожий на черного слона, вздымающего кверху сломанный пополам хобот, причем вторая, “дальняя” от головы часть хобота свисала вертикально вниз и была к тому же искусственно удлинена. Гонщик слона брал этот трехметровый гофрированный чулок за расположенные по бокам ручки и что-то делал им у ног, внизу, но что в точности — за кучами гравия и песка, за баррикадами из труб и тротуарной плитки не было видно. Неотрывно следя за ним — и притворяясь, что смотрит на гладкий пятиэтажный параллелепипед с мелкими окошками, тщательно разрисованный фигурками индейцев и попугаев, — Ральф продиктовал Еве стишок. Единственный известный Маркусу, а теперь и Мыши, стишок, сочиненный Ральфом; пожалуй, единственно возможный для него в этом контексте. Ева записала его на салфетке с логотипом “ФауХа”:

Это Бамбук, дорогая моя,  
это Бамбук.  
Это Бамбук, у него есть Семья —  
Бам и Бук.

Еда задерживалась. Они спросили еще пива, и Ральф, сделав непонятное движение горлом, вылез из-за стола. Водитель экскаватора тоже вылез из своей кабинки и закурил. Ральф аккуратно прошел мимо Розочки с бабушкой, которые все еще

ели, спустился на мостовую и подошел к невысокому ограждению. Экскаваторщик улыбнулся ему, отрицательно покачав головой — мол, я рад тебя видеть, но тебе сюда нельзя. Ева знала за Ральфом свойство говорить глазами. Она смотрела ему в затылок, на белый воротничок рубахи, но была уверена, что сейчас он говорит глазами с экскаваторщиком. Ральф перелез через ограждение, экскаваторщик больше не улыбался, но и не протестовал. Он бросил сигарету и взялся за дверцу кабины — но сам туда не полез, а сделал приглашающий жест рукой и, можно сказать, дружески подтолкнул Ральфа, который уже стоял в шаге от машины и вполне мог поставить ногу на гусеницу или на подножку кабины. Теперь не решался сам Ральф.

Казалось, он вел про себя какой-то отсчет — досчитал до нуля, встал на подножку, держась за внутреннюю ручку двери, пролез в кабину, сел на сиденье и положил руки на рычаги. Досчитал до известного лишь ему числа и вылез обратно. “Со значительно большей легкостью, — сообщала Ева. — С облегчением”. Теперь Ева могла видеть его лицо. Когда Ральф приблизился настолько, что мог без очков разглядеть ее лицо, Ева опустила голову и уставилась на свои сосиски с карри.

— Когда я был ребенком, — начал Ральф со странной интонацией, пародирующей Петера Хандке, — я часто играл в грузовик. Я ходил по садовой дорожке возле дома моего деда, вперед-назад, ровно двадцать метров, пугая этим мать. Ее нервировало то, что я разворачивался как грузовик — поворот с шагом влево, два шага назад и снова шаг влево с поворотом. Совершенно молча: позже она признавалась мне, что если бы я фырчал или гудел, ей не было бы так страшно. Но я молчал. Все это время у меня перед глазами стоял чешский журнал “Мотор-ревью”, русский выпуск, не знаю, откуда он у нас появился, да и года не помню. Грузовая Tatra (*Видимо, — сказал он мечтательно, — сто тридцать восьмая...*) преодолевала каменистый подъем. Сегодня в любой день на кабельном канале можно посмотреть какой-нибудь truck trial, но тогда это потрясало. Я чувствовал приемистость ее мотора, внутреннее давление всех колес, ощущал каждую выпуклость их протектора; перед моим лицом реяла пыль горных дорог.

Я никому не рассказывал, никогда. В шесть лет родители взяли меня в Москву. Это была редкость, ты знаешь, никто не мог попасть в Москву, но отец... — в общем, меня повели на выставку. Не помню куда, там был огромный комплекс в лесу, и там были иностранцы, много. И техника. Море техники. Помню страшный бульдозер “Комацу” — единственное название, которое застряло в мозгу. Кроме “Татры”. Еще помню плоскогубцы, которые мне дали подержать в одном павильоне. С фонариком. И еще в лесу, на асфальтовой площадке,

стояли маленькие трактора. Человек ходил среди них и что-то настраивал, поправлял. Увидев меня, он хотел посадить меня на трактор. Я испугался. Тогда он предложил отцу посадить меня — я не хотел. Интересно, может быть, он был японцем? Я не понимал, что он говорит. Будь он русским, я бы тоже не понял. У него был руль, как у мотоцикла. Если кто-нибудь хотя бы на несколько секунд усадил меня в кресло, я бы мог подержаться за ручки...

И вот круг замкнулся. Я вижу себя мальчиком, стоящим около маленького трактора, и ничего вокруг не изменилось. Если моя жизнь и описала за эти годы какую-то петлю, то петля эта ничего не захватила, соскользнув со всего, что оказывалось внутри. И нет никакой спирали, не важна никакая цикличность, — только это вот ощущение, что ты можешь сесть на трактор... и не садишься.

— Поэтому ты плачешь? — спросила Ева, которая тоже плакала.

— А ты?

— Я? Элементарно — табаско.

— А я потому, что мне кажется, что я дотянулся до всех тех людей, которых знал в детстве. И почувствовал, что они где-то есть, и мы растем из одной земли.

— Некоторые уже не растут. Рихард, например, повесился...

*(Да, Рихард уже повесился...)*

Клопсы перестали интересоваться Ральфа. Он нехотя съел один, раскрошил всю картошку и отставил пиво в сторону.

— От одного спившегося музыканта, который был армейским разведчиком когда-то... в Египте, кстати — так что ему приходилось более-менее плотно соприкасаться со временем, — я слышал такую теорию. Время каждого из нас вовсе никуда не идет, оно стоит на месте. Мы постоянно переживаем один и тот же свой миг, назовем его “квантом жизни”, а все наше, так сказать, движение и развитие — будто бы во времени — есть лишь форма переживания этого мига; по сути дела, мираж. Когда наш квант пересекается с квантами других людей, мы видим частички их миражей, а когда он ни с чем не пересекается, у нас возникает ощущение *déjà vu*.

...Знаешь, он говорил, что пирамиды были в его жизни всегда. Он их сразу узнал, в мгновение ока. Вот только не помню, то ли он их сам строил, то ли видел, как другие строили.

Ева молчала. Долго.

Ощупывала неясную тяжесть, распространявшуюся от сердца вниз, до самых кончиков пальцев ее длинных ног, и молчала.

— Знаешь, невероятно! Черная штука — это пылесос. Они счищают им песок с трюб.

В автобусе по пути домой Ральфу стало плохо. Уткнувшись побледневшим лицом в стекло, он потел, не отвечал на вопросы Евы, лишь изредка обращая на нее невидящие прозрачные глаза. На автовокзале их ждала вызванная шофером скорая. В ней — по пути в больницу — не приходя в сознание и умер Ральф.

Мышь усыпила компьютер. Потом разбудила. Быстро нашла в сети и включила прослушивание одной русской песенки, в которой работали индийские инструменты. Через две минуты, как и положено, запустилась заставка, и по экрану побежали слайды: вот ледяные шапки на кольях волнолома в Росситтене; вот крупным планом “куриный бог” из Пальмникена; вот тень от тюремного замка Тапиау на песчаном берегу Деймы; вот дворик в гордом некогда Инстербурге, а между двух покосившихся столбов висит разноцветное белье...

Мышь вспомнила, как однажды вечером она встала в Георгенсвальде, теперь Отрадном, на песке почти у самой воды, и не смогла разглядеть кромку моря — в том месте, в котором всегда начиналось небо. Это была мгла, не туман, она просто заполняла собой все пространство воздуха и воды, сохраняя его объем, и она была синей. Она ничего не обрезала — просто там, где стояла Мышь, заканчивался один мир, а дальше начинался другой. Из того мира в этот доходил лишь шелест.

Слабый плеск.

Мышь отодвинула стул и подошла к балконной двери. Между двумя соседними домами на заслуженном приколе спал экскаватор, в течение пяти рабочих дней усердно рывший котлован под супермаркет спиртных и прочих напитков. Его ковш был приподнят и закреплен в той позе, в какой, согласно ее зрительной памяти, полагается отдыхать ковшам экскаваторов. К кормушке слетелись птицы — они видели Мышь и жаждали насущного хлеба. Она махнула рукой, как бы выплескивая из себя не выговариваемые при всех, даже при птицах, слова; птиц сдуло ветром. Мышь вздохнула, села к столу и открыла текст про маленького финского мальчика, которому в прямую кишку вводит свой член сатана.